

**А.И. Иваницкий**

***Символика собаки в «Записках сумасшедшего» и ее литературные источники***

Случаи взаимного подобия людей и животных у Гоголя чрезвычайно многочисленны. В то же время можно отметить совсем немного примеров полного очеловечивания зверя – причем без вмешательства сверхъестественных сил, точно определенных Юрием Манном как «носители фантастики»<sup>1</sup>. Так, в «Носе» упоминается о некоем пропавшем пуделе, который по обнаружении оказался казначеем. Сюжетом такое «невошественное» очеловечивание зверя становится лишь в переписке собак, воображаемой Поприщиным в «Записках сумасшедшего».

Прямыми предшественниками Гоголя в развитии этого мотива выступают немецкие романтики, и, прежде всего Э.Т.А. Гофман, в творчестве которого данный мотив отражал т.н. «злой принцип», правящий миром, и носил отчетливую антипросветительскую, антирационалистическую окраску. В мире, где духовное начало возводится к материальному, оно, в конечном счете, и сводится к нему. То есть профанируется, сохраняя лишь свои внешние атрибуты (чтение, письмо, речь и т. д.). Ими вполне может овладеть кот - в итоговом романе «Житейские воззрения кота Мурра», или обезьяна - в повести «Сообщение об одном образованном молодом человеке». («Обезьяний» мотив примерно в те же годы развивает В. Гауфф в новелле «Обезьяна как человек»). Особняком в этом ряду стоит повесть «Новейшее известие о судьбах пса Бергансы», заглавного героя которой Гофман открыто заимствует из новеллы М. Сервантеса «Беседа собак».

Повесть о Бергансе стоит ближе других к «Запискам сумасшедшего» не только потому, что в ней очеловечивается именно собака. Схожи психологические подоплеку этого очеловечивания. Социальный аутсайдер, безнадежно влюбленный в девушку, предназначенную другому, мысленно

превращает собаку в своего рода «оракула», поверяющего ему некие тайны о возлюбленной. Это превращение собаки в оракула, выходит, на мой взгляд, за рамки романтических смыслов, соединяя разностадиальные значения образа собаки в европейской культуре. В мифах - как германских, так и славянских, - волк (напр., Фенрис в «Старшей Эдде») либо собака представляли первородный хаос в упорядоченном мире и грозили ему возвращением в этот хаос <sup>2</sup>. Комический аналог Фенриса встречается у Гоголя в X главе 1-го тома «Мертвых душ»: на карикатуре, описываемой почтмейстером, Наполеон изображен в виде цепной собаки Англии, которая грозит России «...если что не так... выпу[стить] эту собаку» (VI, 205)<sup>3</sup> и этим вернуть мир в состояние первоизданной стихии.

Именно в силу своей причастности «началу времен» собака могла выступать в роли оракула, кудесника и т. п. В сказках – народных, а затем литературных, -- оракул становится волшебным помощником (см., напр., русскую народную сказку «Иван Царевич и Серый Волк»), либо сторожем некоей заповедной области (см., напр., «Огниво» Г.Х. Андерсена). В последующей, собственно литературной традиции (в том числе у Гоголя) собака регулярно наделяется противоположной сторожу ипостасью бродяги, изгоя, живущего на внешней границе социального мира <sup>4</sup>. Рассматриваемые повести как Гофмана, так и Гоголя по-своему преобразуют и сочетают эту фольклорно- мифологическую и литературную символику собаки.

«Берганса» -- одна из наиболее автобиографичных повестей Гофмана, иносказательно повествующая о безнадежной любви писателя к Юлии («Юльхен») Марк: Гофман был женат; Юльхен -- обручена с человеком необаятельным и нелюбимым ею, но привлекательным для родителей. В центре повести - самый драматичный эпизод платонического романа Гофмана и Юльхен. Однажды во время совместной прогулки в лес подвыпивший жених попытался овладеть Юльхен. Узнав об этом, Гофман является к Маркам и устраивает громкий скандал, в результате которого его навсегда изгоняют из дома его возлюбленной и запрещают впредь где бы то

ни было видеться с нею. В повести Гофман передает собственную роль в роковом эпизоде в доме Марк Бергансе - преданному псу девушки, люто ненавидящему постылого той жениха. Став свидетелем безобразной сцены, Берганса пользуется удобным случаем отыграться на недруге и кусает того, куда придется. В итоге, однако, именно он навсегда изгоняется из дома и становится бродячим псом. В этом качестве его встречает лирический герой, которому Берганса и рассказывает обо всем происшедшем<sup>5</sup>.

Таким образом, свой подлинный смысл повесть Гофмана получает лишь в соотнесении с контекстом, который, однако, в сюжете никак не проявлен. Это делает повесть аналогом дневниковых записей, то есть внутренним монологом автора, обращенным не к другим, а к самому себе. Гофман, как известно, вел дневники, где среди посторонних записей то и дело напоминал себе о Юльхен под кодированным сокращением «Ктх». (имелась в виду заглавная героиня драмы Г. Клейста «Кэтхен из Хайльбронна», с которой у Гофмана ассоциировалась Юлия Марк)<sup>6</sup>.

Если в тексте пес повествует лирическому герою о своем превращении из *сторожа* «правильного» мира в изгоя победившего мира «злого принципа», то в контексте он превращается в «оракула», рассказывающего реальному Гофману о его собственной несчастной любви. Итогом которой для самого Гофмана становится та же *собачья* ипостась изгоя, что и для придуманного им Бергансы: изгнание из дома Марк фактически знаменовало для него изгнание из мира в целом.

Легко увидеть, что прообразом «собачьей» фантазии Поприщина выступает не только и даже не столько текст, сколько контекст повести о Бергансе. Если мотивы собаки-сторожа и собаки-изгоя лишь иносказательно обнаруживаются в финале «Записок...», то «вещую» роль Меджи, собаки своей избранницы, Поприщин утверждает открыто: «Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека; я даже был уверен, что она может говорить, но что в ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политик: все

замечает, все шаги человека...< >...я знал: у них политический взгляд на все предметы» (III; 200, 202).

Смысл «вещей» роли собаки в «Записках...», существенно новый в сравнении с «...Бергансой», может быть прояснен с учетом того, что избранница Поприщина, директорская дочь Софи, не только прочно связана с петербургским миром, но в известном смысле олицетворяет этот мир в сознании героя. С одной стороны, столица в «Записках сумасшедшего», как и в большинстве других посвященных ей повестях «Арабесок», отчетливо предстает злым и бессердечным миром «злого принца». Это обнажается в финале повести, где Петербург замыкается для героя в виде сумасшедшего дома, а «своим» оказывается воображаемый им и явно противостоящий столице традиционный мир «русских изб», где героя ждут его дом и его мать: «Спасите меня! <...> дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеса, кони, и несите меня с этого света! Вон <...> лес несется с темными деревьями и месяцем; <...> вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синее вдали? Мать ли моя сидит перед окном?» (III, 214; здесь и далее курсив мой. - А.И.). По оценке Ю. Лотмана, искомым для Поприщина оказывается в финале «домашний» мир <sup>7</sup>.

Но, с другой стороны, Поприщин, в отличие от лирического героя «...Бергансы», жаждет полноценно *войти* в петербургский мир, то есть *взойти* по его социальной лестнице. А Софи не только принадлежит петербургскому миру, но именно этой принадлежностью привлекает героя. Так, симпатия Софи желанна герою в дополнение к расположенности самого директора, в котором Поприщин уже почти себя уверил: «Я замечаю, однакоже, что он (директор – А.И.) меня особенно любит. Если бы и дочка...» (III, 196). Оброненный Софи платок приводит его в восторг не только тем, что он «амбра, совершенная амбра!», но, прежде всего тем, что «Так и дышит от него *генеральством!*» (III, 197).

Именно страстное желание узнать мысли шефа: «...узнать, о чем он больше всего думает; что такое затевается в этой голове» (III, 199)- рождает в

герое стремлению войти в физическое пространство господского мира, венчаемое будуаром и спальней Софи, регулярно именуемой «*ее превосходительство*»: «Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ. <...> Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиную еще в одну комнату. Эх, какое богатое убранство! Какие зеркала и фарфоры. Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где *ее пр-во*, <...> в будуар, <...> как лежит там разбросанное *ее* платье, больше похожее на воздух, чем на платье. Хотелось бы заглянуть в спальню... там-то, я думаю, чудеса, там-то я думаю, рай, какого и на небесах нет. Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она ставит, вставая с постели, свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек...» (III, 199-200).

Наконец, в якобы перехваченных письмах собачки Меджи Поприщина интересует, прежде всего, служебная карьера директора, а уж потом – интимная жизнь дочери: «Теперь-то, наконец, я узнаю все дела, помышления, все эти пружины, и доберусь наконец до всего. Эти письма мне все откроют. <...> верно, там будет <...> портрет и все дела этого мужа. Там будет *что-нибудь* и о той, которая... ничего, молчание!» (III, 201).

Однако стремление Поприщина войти в заповедный высший свет обнажает его глубоко раздвоенную самооценку. С одной стороны, он одержим утверждением своего дворянского достоинства, и потому презирает «плебеев»: «Я разве из каких-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских детей? Я дворянин» (III, 198); «...подлые ремесленники напускают копоты и дыму из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться» (III, 200); «Ведь это черный народ. Им нельзя говорить о высоких материях» (III, 208). Поприщин ненавидит «черный народ» тем больше, что его самолюбие то и дело уязвляется их неуважением: «Я терпеть не могу лакейского круга: всегда развалится в передней и хоть бы головой потрудился кивнуть. <...> Да знаешь ли ты, глупый холоп, что я <...> благородного происхождения» (III,

197).

А с другой стороны, в отношениях с обожаемым директором Поприциным владеет безмерное самоуничижение: «Наш директор должен быть очень умный человек. Весь кабинет его уставлен шкафами с книгами. Я читал названия некоторых: все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет: все или на французском или на немецком. А посмотреть в лицо ему: фу какая важность сияет в глазах! <...> Да, не нашему брату чета! Государственный человек» (III, 196). Все действия Поприцина в отношении кумира пронизывает угодничеством слуги: «Сегодня среда, и потому я был у нашего начальника в кабинете. Я нарочно пришел пораньше и, засевши, перечинил все перья» (III, 196). И сослуживцев Поприцин ненавидит потому, что подозревает их в посягательствах на его лакейские функции. Начальник отделения «...верно завидует, что я сижу в директорском кабинете и очиниваю перья для его пр-ва» (III, 193).

В результате главным и непреодолимым препятствием между Поприциным и желанным ему петербургским светом оказывается он сам. Ему не запрещено говорить ни с директором, ни с его дочерью, но он, вопреки своему страстному желанию, способен лишь односложно отвечать на их вопросы, обращенные к нему как к слуге: «...как глянула: солнце, ей богу, солнце! Она поклонилась и сказала: «Папа здесь не было?» <...> «*Ваше превосходительство*», хотел я было сказать, «не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою». Да, черт возьми, как-то язык не поворотился, и я сказал только: «никак нет-с» (III, 196- 197). Ср.: «Я думал несколько раз завести разговор с его пр-вом, только, черт возьми, никак не слушается язык: скажешь только, холодно или тепло на дворе, а больше решительно ничего не выговоришь» (III, 199).

При всем своем самолюбии и амбициях, Поприцин в глубине души вполне осознает свои реальные достоинства и вытекающие отсюда служебные и брачные перспективы. Чувство собственной неполноценности оказывается у него обратной стороной восторга слуги в отношении господ.

Под влиянием этого восторга Поприщин сакрализует господский мир, произвольно делая недоступность составляющей его совершенства. Именно это раздвоение самооценки, а отсюда и собственных устремлений побуждает Поприщина перенести их в область воображения, превратив собаку своей избранницы Меджи в тайного оракула. Для понимания смысла якобы похищенной Поприщиным собачьей «переписки» следует иметь в виду, что она от начала до конца выдумана им самим, уже погружающимся в безумие. И потому, став «вторым я» героя, Меджи в своих письмах полностью отражает раздвоение этого «я». В начале письма своей товарке Фидели, она «рассказывает» Поприщину о своей хозяйке то, что он хотел бы услышать. Но, заводя речь о самом Поприщине, собака парадоксальным образом начинает говорить мучительную для него правду. То есть -- голосом придуманного им оракула Поприщин произвольно озвучивает реальную самооценку! И на ее основании логически предвидит (опять-таки голосом Меджи!), что его избранница суждена другому.

В результате «чтение» Поприщиным писем Меджи оказывается спором двух «голосов» героя: его собственного – выражающего желания и амбиции, – и второго: переданного собаке и озвучивающего невыносимую правду. Вот примеры этого раздвоения поприщинского голоса:

Собачий: «...вошел лакей и сказал: «Теплов!» - «Проси» закричала Софи и бросилась обнимать меня. «Ах, Меджи! <...> Если б ты знала, кто это: брюнет, камер-юнкер, а глаза какие! Черные, светлые, как огонь!»

Собственный: «Мне <...> кажется, здесь что-нибудь да не так. Не может быть, чтобы ее мог так обворожить камер-юнкер».

Собачий: «Мне кажется, если камер- юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папа в кабинете. Ах, ma chère, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке... < > Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папа всегда посылает его вместо слуги...< > Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него»

Собственный: «Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкой язык!..»

Собачий: «...у нас в доме теперь большие перемены. Камер-юнкер теперь у нас каждый день. Софи влюблена в него до безумия. Папа очень весел. Я даже слышала, <...> что скоро будет свадьба; потому что папа хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за камер-юнкером».

Собственный: «Не может быть. Враки! Свадьбе не бывать! Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это <...> не какая-нибудь вещь видимая. <...> Ведь через то, что <он> камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу» (III, 204-206).

«Прекращая» читать (а на деле фантазировать) собачью переписку и разрывая письма «проклятой собачонки», Поприщин косвенно признает, что даже в воображении не в силах забыть о том, кто и каков он на самом деле, и заглушить свой правдивый внутренний голос. В результате собака из *волшебного помощника* героя превращается в *непобедимого сторожа* заповедного петербургского мира вообще и его избранницы в частности. Но и в качестве *сторожа - врага* собака остается вторым «я» и *оракулом* героя, поскольку озвучивает его самооценку. Себя же Поприщин наделяет противоположной «собачьей» ипостасью *изгоя*, пожизненно обреченного оставаться на границе недоступного и оттого тем сильнее обожаемого им мира.

Итак, умственная афера Поприщина с собакой – оракулом соединяет текст и контекст повести о псе Бергансе, ставшем оракулом не лирического героя, а реального Гофмана. Собака символически замещает героя / автора сначала как сторожа правильного мира, а затем как изгоя мира «злого принципа». В отличие от гофмановского романтика, для Поприщина мир петербургского «злого принципа» таит в себе безмерный соблазн. Эта глубоко социальная влюбленность «маленького человека» в господский мир предопределяет и его раздвоенную самооценку, и выбор возлюбленной, и, в конечном счете, его отношение к ней (отношений *с нею* не может быть в



принципе!) с помощью мифологической, фольклорной и литературной символики собаки. Раздвоенное «я» Поприщина сначала делает собаку помощником - медиумом, позволяя ему мысленно проникнуть в высший мир, а затем превращает в сторожа Петербурга, возвращая Поприщину собачью ипостась изгоя петербургского мира.

Резюме.

Сюжетным источником гоголевских «Записок сумасшедшего» выступает повесть Э.Т.А. Гофмана «Новейшее известие о судьбах пса Бергансы». В обеих повестях безнадежно влюбленный социальный аутсайдер мысленно превращает собаку возлюбленной в «оракула»,веряющего ему некие тайны о «предмете». В отличие от героя Гофмана, Поприщин стремится войти в высший свет, который и олицетворяет в своей избраннице. Но в силу раздвоенной самооценки он сначала делает собаку волшебным помощником, а затем - сторожем недоступного петербургского мира.

---

<sup>1</sup> Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. М., 1978. С. 85-104.

<sup>2</sup> Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Тт. I-III. М., 1994. Т. I. С. 720-765.

<sup>3</sup> Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 тт. М.-Л., 1937-1952. Т. VI. С. 205. Далее ссылки на это издание в тексте статьи. Римская цифра означает номер тома; арабская цифра – номер страницы.

<sup>4</sup> О совмещении в образе собаки символики вешего знания и отверженности см.: Смирнов И.П. Место мифопоэтического подхода среди других толкований текста (о стихотворении Маяковского “Вот так я сделался собакой”) // Миф - фольклор - литература. Л., 1978. С. 196-200.

<sup>5</sup> Hoffmann E.T.A. Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Bergansa // E.T.A. Hoffmann. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Berlin und Weimar. 1982. B. I. S. 96-171.

<sup>6</sup> Hoffmann E.T.A. Tagebuecher // E.T.A. Hoffmann. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Berlin und Weimar. 1984. B. X. S. 122-202.

<sup>7</sup> Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 288.